

INSPIRIA

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР В МОНРЕАЛЕ

ЭМИЛИ СЕНТ-ДЖОН
МАНДЕЛ



INSPIRIA

Эмили Сент-Джон Мандел
Последний вечер в Монреале
Серия «Loft. Романы
Эмили Сент-Джон Мандел»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70257382
Последний вечер в Монреале: Эксмо; Москва; 2024
ISBN 978-5-04-198316-1

Аннотация

Таинственный дебютный роман Эмили Сент-Джон Мандел о любви, памяти, отчаянии и природе помешательства.

Лилия Альберт совсем не помнит своего детства. Всю жизнь она бежит, оставляя позади множество людей. Она постоянно переезжает, меняет личности, как перчатки, и нигде не может остановиться. Она срывается из города в город, ускользая от своих любовников, но однажды последний из них отправляется за ней из Нью-Йорка в Монреаль, желая узнать, какие секреты она хранит, и убедиться, что с ней все будет в порядке.

«Лилия — настоящее, живое воплощение первого закона Ньютона». — *The New York Times*

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	12
3	15
4	36
5	39
6	49
7	57
8	62
9	69
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Эмили Сент-Джон Мандел Последний вечер в Монреале

Посвящается Кевину

Emily St. John Mandel
Last Night in Montreal

* * *

Copyright © Emily St. John Mandel, 2010

This edition published by arrangement with Curtis Brown Ltd.
and Synopsis Literary Agency

© Оганян А., перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2024

Часть первая

1

Никто не остается насовсем. Утром, в день исчезновения, Лилия проснулась рано и с минуту недвижно лежала в постели. Был последний день октября. Она спала нагишом.

Илай уже встал и трудился над своей диссертацией. Печатавая изложение вчерашних изысканий, он слышал звуки пробуждения, шуршание одеяла, шлепанье босых ступней по паркету. Она мимолетно чмокнула его в макушку по пути в ванную; он заурчал в знак одобрения, не поднимая, однако, глаз, и по ту сторону едва приоткрытой двери включился душ. Пар и аромат абрикосового шампуня начали просачиваться сквозь щели. Она провела в душе сорок пять минут, как обычно. День был по-прежнему заурядным. Илай мельком взглянул на нее, когда она вышла из ванной. Лилия обнаженная – бледная кожа в махровом белом полотенце, влажные короткие темные волосы на лбу; встретившись с его взглядом, она улыбнулась.

– Доброе утро, – сказал он, улыбаясь. – Как спалось? – И принялся печатать.

Вместо ответа она снова поцеловала его шевелюру и оставила цепочку мокрых следов до спальни. Он услышал, как

полотенце мягко упало на пол, и ему тотчас захотелось пойти туда и овладеть ею здесь и сейчас; но в то утро он работал с такой *отдачей*, что ему было жаль терять вдохновение. Послышалось, как задвигается ящик комода.

Она вышла, облаченная по своему обыкновению во все черное, с тремя обломками бледно-голубой тарелки, липкой от гранатового сока, слетевшей с кровати прошлой ночью. Он услышал, как она бросила их в мусорное ведро на кухне, прежде чем прошагала мимо него в гостиную. Лилия встала перед его диваном, пробежала пальцами по волосам – не влажны ли; когда он взглянул на нее, выражение на ее лице было какое-то отсутствующее, и впоследствии ему казалось, что она над чем-то раздумывала, может, принимала решение. Но позднее, от многократного прокручивания лента событий того утра затерлась, и ему мерещилось, что, возможно, она просто-напросто думала о погоде, а еще позднее он готов был допустить, что она и вовсе не стояла напротив дивана, а всего лишь задержалась там на миг, который растянулся на пленке его памяти в отрезок времени, превратился в эпизод и наконец в ключевую составляющую сюжета.

Потом он утвердился во мнении, что первые несколько воспроизведений последнего утра вполне точны, но после стольких бессонных ночей и раздумий качество воспроизведения поблекло. Если посмотреть назад, череда событий становится расплывчатой, образы накладываются друг на друга и слегка размазываются: вот она идет по комнате, вот целует

его в третий раз, и почему он не поднял голову и не поцеловал ее? В третий раз она поцеловала его в макушку... и обулась. Она поцеловала его до того, как обулась или после? Он не знает наверняка, так это было или эдак. Позднее он станет рыться в своей памяти в поисках предвестников, и тогда все мельчайшие подробности стали казаться ему предзнаменованиями. Но в конечном счете ему пришлось сделать вывод, что ничего странного в ее поведении в тот день не было: утро выдалось, как и любое другое, исключительно заурядным во всех отношениях.

– Я за газетами, – сказала она. Следом за ней хлопнула дверь. Послышалось цоканье ее шагов по лестнице.

В тот момент он охотился по горячим следам за неуловимой цитатой, порхающей, как редкая бабочка, в тропических дебрях абзацев. Погоня требовала предельного напряжения сил; и все же потом он не мог отделаться от мысли, что если бы он просто оторвался от своих изысканий, то что-нибудь да заметил бы: выражение ее глаз, предвестники беды, может, билет на поезд в руке или слова: «Я покидаю тебя навсегда», – вышитые на ее пальто. Что-то все же показалось ему немного подозрительным, но он был поглощен захватывающей погоней за бабочками и пренебрегал этим до тех пор, пока где-то между заимствованиями из андских наречий и забытыми языками древней Калифорнии он не взглянул на часы. Полдень. Он проголодался. Прошло четыре с полови-

ной часа, как она ушла за газетами, ее влажные следы на полу испарились, и тут его осенило: впервые на его памяти она не спросила, захватить ли для него кофе из закуской.

Он внушал себе, что нужно сохранять спокойствие, и одновременно осознал, что ожидал чего-то подобного. Он твердил себе, что ее отвлек книжный магазин. Такое вполне возможно. Еще ей нравилось кататься на поезде: сейчас она может быть на полпути из Кони-Айленда, фотографирует пассажиров, позабыв, который час. С этими мыслями он скрепя сердце возобновил погоню; его обвило кольцами некое предложение, и пришлось с полчаса нервно выпутываться из него, прилагая героические усилия, чтобы не заикливаться на ее зияющем и все более вопиющем отсутствии, а тем временем научные вопросы, которые он пытался прояснить, отошли от скуки на второй план. Понадобилось время, чтобы их задобрить и вернуть в центр внимания, по мере того как предложение было изуродовано до неузнаваемости, и пункт назначения абзаца был найден. Ко времени прибытия абзаца на станцию было пять часов вечера; она ушла за газетами еще утром, и глупо было воображать, будто ничего страшного не происходит.

Он встал, признав поражение, и принялся осматривать квартиру. В ванной все по-прежнему: ее гребенка там же, где всегда – среди хаоса, на полке между унитазом и раковиной. Зубная щетка – где она ее оставила, возле серебряных щипчиков на подоконнике. Жилые комнаты – без из-

менений. Мокрое полотенце валялось на полу спальни. Она прихватила сумочку, как обычно. Но потом он посмотрел на стену спальни, и его жизнь аккуратно разломилась пополам.

У нее была единственная детская фотография. Сделанная «Поляроидом», подернутая молочной бледностью от солнечных лучей и времени: на табурете перед стойкой в закусочной сидит маленькая девочка. Ее рука частично заслоняет бутылку кетчупа. Белокурая официантка с копной завитушек и пухлыми губами перегнулась через стойку. Фотографировал отец девочки. Они остановились в ресторанчике, где-то в дебрях континента, попутешествовав некоторое время. Лицо официантки слегка лоснилось – признак сильной полуденной жары. Лилия рассказывала, что не помнила, в каком они штате, но запомнила, что это был день ее рождения. Фото находилось над его кроватью с того самого вечера, как она переехала к нему, ее единственный отпечаток в квартире, приклеенный над изголовьем. Но когда в тот полдень он взглянул вверх, фотография исчезла, а кнопка была аккуратно вдавлена в стену.

Илай присел на пол, но ему понадобилась пара мгновений, прежде чем он решился приподнять край одеяла. Ее чемодана под кроватью не оказалось.

Потом он очутился на улице, передвигаясь быстрым шагом, но не мог вспомнить, как он туда попал и сколько времени прошло с тех пор, как он покинул квартиру. Ключи лежали в кармане, и он стискивал их так, что ладонь заны-

ла от боли. Он прерывисто дышал, стремительно шагая по Бруклину, запоздало, в отчаянии кружа по окрестностям, с каждым разом захватывая все больше пространства, все книжные, кафе, магазинчики, которые, если следовать логике Лилии, могли бы привлечь ее внимание. Уличное движение шумело сверх меры. Солнце сияло слишком ярко. Улицы словно сговорились, подавляя его отталкивающей обыденностью. Книжные, кофейни, продуктовые лавки и магазины одежды делали вид, что все нормально, будто только что девушка не оступилась и не рухнула со сцены в провал оркестровой ямы.

Он осознавал, что было слишком поздно. И все равно доехал на метро до Пенсильванского вокзала и простоял сколько-то времени в зале ожидания, залитом сумрачным светом, скорее ради ритуала, чем в надежде на что-то. Ему хотелось хотя бы проводить ее, даже спустя четыре-пять часов после отъезда. Он неподвижно стоял посреди бесконечного миража мелькающих пассажиров; все тянули за собой багаж, встречали родных, покупали воду, билеты, карманные издания, чтобы скоротать время в поездке, бежали, чтобы не опоздать. Неотлучные солдаты Пенсильванского вокзала равнодушно поглядывали на него, непринужденно положив руки на стволы винтовок «М-16».

В тот вечер раздался стук в дверь, и он мгновенно вскочил и распахнул ее настежь, думая, а вдруг...

– Сладости или гадости! – сказала сияющая мамаша-со-

проводящая.

Она посмотрела на него, повторив заклинание, и быстро подтолкнула своих подопечных к более перспективным дверям. Вся сценка продлилась мгновение («Дети, идемте, вряд ли у этого милого мужчины найдутся для нас угощения...»), но все же запечатлелась в памяти. Впоследствии, когда мысль об исчезновении Лилии пронизывала его ознобом, то всякий раз перед глазами возникала картинка: оптимистично настроенная стайка охотников за сладостями (слева направо: вампир, божья коровка, вампир, привидение), как мираж на пороге – все не старше пяти, и самый младший (вампир, что слева) посасывает желтый леденец на палочке. Он узнал в ребенке девочку с четвертого этажа, которая время от времени закатывала истерики на тротуаре. Ей было годика три с половиной, и она улыбнулась ему липким ротиком прежде, чем он захлопнул дверь.

Воспоминания Лилии о детстве были главным образом о парках, публичных библиотеках, номерах мотелей и, казалось, бесконечной вереницы автомобилей. Мираж: в пустыне ей виделась вода. В знойном мареве она заливала шоссе, и горизонт дробился на белые осколки. На приборной доске лежала карта, но под натиском солнечных лучей она неуклонно выцветала. Лилии полагалось играть роль штурмана, но целые штаты расплывались розовыми пятнами, очертания дорог вылиняли, став серыми, названия городов на изгибах – неразборчивыми, все границы исчезали. Защелка ее ремня безопасности раскалилась. Часы на приборной доске показывали замедленное время. Позади, в миле от нее, по степному шоссе на помятой голубой машине их преследовал детектив.

Отец вел машину молча, временами протирая платком пот с лица. Эта местность горячечных видений была залита светом, наполнена миражами, под раскаленным добела небом до самого горизонта автомобили отражались в иллюзорной воде, разлитой по шоссе. Впоследствии она обнаружила, что большинство воспоминаний детства оказались сродни галлюцинациям из-за дальних странствий, разъездов по пустыне и частой смены своего имени, которое она уже затруднялась припомнить. Но ее воспоминания о первых го-

дах путешествий оставались отчетливыми. Потом уже она никак не могла вспомнить, с чего вдруг они принялись удирать на машине от всего на свете. Поначалу образ отца писался размашистыми мазками: вот его рука передает ей пенопластовый стаканчик с какао на стоянке у бензоколонки, вот утешающий голос после того, как он остриг и перекрасил ее волосы в гостиничном номере, но чаще всего – силуэт в водительском кресле, впечатление, голос. Он знал наизусть половину песен, звучавших по радио, и всегда знал, какие сказать слова, чтобы ее рассмешить. Он рассказывал ей все и обо всем, за исключением того, что осталось в Прошлом. Он говорил, что это несущественно. Он говорил, что они должны жить настоящим. Прошрое условно обозначало отрезок времени, который предшествовал их побегу на машине. Прошрое символизировало лужайку перед домом далеко на севере. А точнее, Прошлому принадлежала ее мать.

В ночь исчезновения Лилии ее мать спала. Она не слышала шума, от которого проснулась дочь, – барабанной дробью льдинок об оконное стекло. Лилия запомнила ту ночь как сон, который начался с разбудившего ее пронзительно чистого звука. Она села в темноте, и звук повторился. Она отдернула занавески, но окно запотело. Тогда она распахнула его и впустила ночь. Внизу на лужайке стоял отец и ухмылялся, прижав к губам палец. Она подобрала с пола своего вязаного шерстяного кролика и тихонько спустилась по ступенькам; перила доходили до ее плеча (ей было всего семь), и, когда

она затворила за собой наружную дверь, мать не проснулась.

Пятнадцать лет спустя, в другой стране Лилия прижалась лбом к оконному стеклу в квартире Илая, разглядывая неизведанный ландшафт бруклинских крыш под дождем, и пришла к неутешительному выводу: она так долго увлекалась исчезновениями, что не научилась пускать корни.

До встречи с ней Илай думал, что ему приходится страдать не больше остальных, разве что в застрявших поездах, от несрабатывающих будильников; в досадном окружении людей, казавшихся куда более преуспевающими и талантливыми; от промокших носков зимой; от одиночества в любое время года; от хронической недопонятости; от «молний», ломающихся в самый неподходящий момент; от того, что тебя не расслышали, от того, что приходится, смущаясь, все повторять заново девушкам, на которых пытаешься произвести впечатление; когда пытаешься впечатлить девушку и не получается; когда девушку можно соблазнить, но она не обращает на тебя внимания; когда девушку невозможно соблазнить и/или наутро оказывается, что у нее есть ухажер; от девушек; от одиночества; от бумажных продуктовых пакетов с выпадающим дном; от получасового стояния в очереди на почте, когда выясняется, что у тебя нет таможенной декларации, чтобы отправить подарок на день рождения вечно путешествующему брату; от ожидания в любой очереди; от звонков вечно недовольной недоумевающей мамы; от толпы чересчур образованных дружков, знающих слишком много, которых хлебом не корми, дай поразглагольствовать о давно почивших мыслителях и/или о квантовой физике во время вполне пристойного во всем остальном утреннего ко-

фе; от девушек; от полного отсутствия целеустремленности и осмысленности, о чем свидетельствует неспособность дописать диссертацию, покончить с ней и взяться за другую или же героически все бросить и пойти работать на бензоколонку в глубинке; от того, что вляпываешься во что-нибудь на тротуаре; от потерянных пуговиц; от всех разновидностей дождя; от стояния в очереди в бакалейном, а перед тобой тетка, уверенная, что где-то тут у нее завалялся купон; от девушек; от ощущения, что все это и есть жизнь, бессодержательная и не блещущая смыслом, особенно по сравнению с жизнью старшего брата, спасающего детей в Африке. Не помогала и нудная работа. Ему платили приличные деньги за стояние в пустующей галерее четыре дня в неделю в окружении произведений искусства, которые он находил невразумительными. И одно время он даже считал, что ему повезло с работой, которая заключается в стоянии, а не в выполнении действий, но впоследствии состояние бездействия вместо деятельности показалось ему симптоматичным.

– Взять хотя бы этого художника из Азии, – говорил Илай. – Я умею произносить его имя, но не стану. Назовем его Q. Этот Q раздевается до нижнего белья, затем обмазывается медом и рыбьим жиром и усаживается возле нужника в своей деревне в Китае. Конечно, его облепляют мухи, раз он вымазался медом и рыбьим жиром возле нужника. И вот он сидит весь в мухах, засаленный, с самоотверженным видом, и его щелкает фотограф... – Тут он спохватился, что гово-

рит слишком громко, и быстро отхлебнул воды, чтобы успокоиться. — И вот что меня бесит, — продолжал он уже вполголоса, — эти картинки затем продаются за восемнадцать тысяч каждая. *Восемнадцать тысяч долларов.* За фотографию субъекта, которого облепила сотня, а может, больше мух. Он всего-навсего сидит в набедренной повязке с мухами, уставясь в пространство. И считается художником. *Он считается художником.*

— Хорошо, — сказала Женестьева, — он считается художником. Ну и? Тебе-то что за печаль? — Она сидела напротив него за столиком в кафе с недоумением на лице. Он годами просиживал в кафе «Третья чашечка» с Женестьевой и Томасом, обсуждая искусство, бруклинские окрестности и смысл жизни, но лишь несколько месяцев назад он заговорил на эти темы с пристрастием.

— Дело, я думаю, в слове. — Он помолчал с минуту. Томас отложил журнал. — Да, в слове. Шопена, Генделя, Ван Гога, Хемингуэя мы называем художниками. Людей, чье искусство потребовало целой жизни и беспрецедентного таланта, крови и пота, людей, чье творчество их убило, свело с ума, сделало алкоголиками или все, вместе взятое, и мы используем то же слово «художник» по отношению к типу, обмазанному медом, который сидит в ожидании мух, фотографируется и получает восемнадцать тысяч долларов за свои труды. Если бы он был душевнобольным и сморозил бы то же самое, его бы упекли в психушку. Но поскольку он выступает с де-

кларацией, в которой говорится, что сидение с мухами – есть подрывная протестная акция... скажем, политическая акция против китайского коммунизма или западного капитализма, или чего-то там еще, то мы величаем его художником. И они все такие. Все до единого, так называемые художники, в так называемой галерее, которая мне платит за то, чтобы я там околачивался. Там еще один такой же; отплясывает голым вокруг штатива с камерой на таймере, и это якобы призвано символизировать, ну там не знаю, его африканское наследие или *joie de vif*, и...

– *Joie de vivre*¹, – поправила его Женевьева.

– Не важно. – Илай протер пот со лба салфеткой в кофейных пятнах. – Он всего лишь размазанный голый типчик.

– Может, ты просто не *понимаешь*, – услужливо предположила Женевьева.

– Боже... – вырвалось у Томаса, но Илай перебил его:

– Нет, она права. Я этого не понимаю. Я работаю в галерее. Мне полагается продавать дерьмо, которое я считаю шарлатанством. Я даже *продаю* это дерьмо, что делает *меня* соучастником шарлатанства, и это уму непостижимо. Это непристойно. Я убежден, что это нельзя называть искусством.

– Тогда что же искусство? – спросила Женевьева. – Давайте разберемся. Уже одиннадцать утра; мы могли бы покончить с этим до обеда.

¹ Радость жизни (*фр.*).

– Послушайте, я же не говорю, что знаю, – сказал Илай. – Я не говорю, что я чем-то лучше. Я лишь утверждаю, что одного раздевания перед камерой недостаточно. Нужен еще талант, а не хитроумная концептуальная идея. Я считаю, что нужно же что-то творить. Они художники только потому, что выступают с заявлениями, в которых говорится, что они художники, а не потому, что они что-то создали, произвели на свет. Вот тут и начинается моя проблема. Я не утверждаю, что знаю ответ.

Это уняло Женевьеву – она предпочитала дискутировать только с теми, кто утверждал, будто знает ответ на вопрос – исключительно ради удовольствия схватиться с ними. Потеряв такую возможность, она встала и направилась к кофейной стойке за добавкой.

– Так вот что тебя гложет в последнее время? – спросил Томас в ее отсутствие. – Ты перебарщиваешь.

– Как знать. Дело не только в художниках из галереи. Они часть целого. Я получил недавно письмо от брата.

– От Зеда?

– Он мой единственный брат.

– Я целую вечность его не видел. Где он сейчас?

– Где-то в Африке. Работает в детском приюте. А до этого строил сельскую школу в Перу. А в промежутке путешествовал автостопом по Израилю. Эти письма приходят из самых невообразимых мест, и знаешь почему?

– Потому что он где-то далеко. Ты чувствуешь себя не в

своей тарелке?

– Нет, послушай, я хочу сказать, что письма приходят бог знает откуда, потому что давным-давно он решил путешествовать, вот он и путешествует. Он не разглагольствует о путешествиях, не теоретизирует о путешествиях. А просто покупает билет и уезжает. Меня не галерея раздражает, а бездействие, – сказал Илай. Он смотрел, как Женестьева возвращается к столику с чашечкой кофе. – Мы умничаем, болтаем о том, что значит быть художником, мудрствуем об искусстве, но никто и пальцем не пошевелит. Никто никогда не посмеет сделать прыжок.

– Какой такой прыжок? – спросила Женестьева. Она смотрела на него поверх кромки кофейной кружки.

– Они никогда ничего не делают. *Мы* никогда ничего не делаем. Я вовсе не утверждаю, что сам не грешен. Я всегда воображал, что вот напишу свою диссертацию и стану писателем, и буду сочинять фундаментальные труды в своей области. Но давайте начистоту – мне ни за что не закончить диссертацию. Я пишу ее шесть лет и за четыре с половиной года продвинулся на треть. Все, на что я способен, – это разговаривать и рассуждать о сочинительстве, но я не способен на прыжок. Я не умею писать и все равно зовусь писателем. Что это, если не шарлатанство?

– А как же мы? – спросила Женестьева с угрожающими нотками в голосе. Она уже сколько времени как не написала ни одной картины.

Илай осознал, что вот-вот наступит на мину, и отпрянул назад.

– Извини. Я заболтался. Не обращай внимания, – сказал он, сделав глубокий вдох. – Послушай, я не имею в виду никого из присутствующих и не утверждаю, что в чем-то разбираюсь, очевидно, что никто из нас на деле... прошу прощения. Не знаю, что на меня нашло сегодня. Ладно. Проехали.

– Не бери в голову, – сказал Томас не без опаски.

– Почему ты забеспокоился только *сейчас*, – раздраженно поинтересовалась Женевьева, – если за все это время ты продвинулся лишь на треть?

– В четверг у меня день рождения. Мне стукнет двадцать семь, и меня осенило: *двадцать семь*. Вот уже шесть-семь лет как я – подающий надежды молодой ученый или подающий надежды некто, а мой университет, наверное, и думать обо мне позабыл. Я всегда задавался вопросом, а что если я не уложусь в срок, а потом так и случилось. Срок сдачи истек в прошлом году, и никто со мной не связался. Никто. Ничего не произошло. словно меня вычеркнули из университетских списков или я не существую вовсе. И потом мне вспомнился Зед, который занимается *делом*. Я просто не... Послушайте, – сказал он. – Мне не хочется об этом говорить. Схожу-ка я за газетами.

– Можешь и здесь купить.

– И посижу немного в парке, – сказал Илай, не обращая внимания на эти слова, – а потом, может, пойду домой и не

буду ничего писать. Чао.

Томас помахал ему рукой. Выходя из кафе «Третья чашечка» на залитую солнцем Бедфорд-авеню, он-таки слышал, как Женевьева прошептала: «Что с ним стряслось, черт возьми?» Но проигнорировал. Он постоял с минуту на тротуаре и решил не ходить в парк, затем наискосок медленно пересек пустынный перекресток и оказался под синим козырьком кафе «Матисс», где бывала некая любительница чтения, с которой ему хотелось познакомиться.

Срок сдачи диссертации миновал, как дорожный щит в окне медленно движущейся машины, как последний указатель перед началом лишенной знаков девственной пустыни. Спустя несколько нервных недель после обведенной в кружок даты на календаре, а вообще-то – несколько нервных месяцев, у него начинало сосать под ложечкой при каждом телефонном звонке. Понадобилось сколько-то времени, чтобы осознать, что никто ему не позвонит. Он не собирался звонить им сам. Он перестал делать вид, будто вот-вот завершит работу, и без остатка погрузился в исследования.

У Илая никогда не было ощущения умиротворенности или продвижения хотя бы приблизительно в правильном направлении. И все же он чувствовал, что его исследования не так уж бесполезны: он стал знатоком небытия, в особенности мертвых языков, или если не мертвых, то смертельно больных. Он изучал малые языки, находящиеся на грани

исчезновения: древнейшие наречия Австралии, Калифорнии, Китая, Лапландии, глухих закоулков Аризоны и Квебека, увядающие из-за вполне понятных причин – колонизации, школ-интернатов и оспы, рассеяния носителей языка на больших пространствах и т. п. Илай привык чувствовать на себе стекленеющие взгляды девушек, когда он принимался об этом рассказывать; то, что Лилия находит эту тему захватывающей, сосредоточенно глядя на него за столиком в кафе «Матисс», приводило его в восторг.

Большинство языков, многозначительно рассказывал он, исчезнут. Поскольку ее это заинтересовало, Илай блеснул своей излюбленной статистикой, как «Ролексом»: из шести тысяч языков на Земле девяносто процентов находятся под угрозой вымирания, а половина исчезнет до конца следующего века. Горстка оптимистов надеется спасти некоторые из них; большинство ученых пытаются хотя бы задокументировать крупницы утерянного. Его работа представляет собой отчасти реконструкцию, отчасти диссертацию, отчасти реквием, говорил он. Лилия слушала молча, явно не без восхищения, и задавала здравые вопросы именно в тот момент, когда он начинал сомневаться в неподдельности ее интереса. Она заметила вскользь, что ей более знакомы исчезновения локального характера – отдельных людей, гостиничных номеров, автомобилей. Она не привыкла к масштабным исчезновениям. Представь, говорил он, что половина слов на Земле исчезнет. А тем временем вообще-то он прикидывал,

что случится, если попытаться поцеловать ее в шею. Она кивала, глядя на него с противоположной стороны столика.

Три тысячи языков обречены на вымирание. Илай был одержим непереводаемостью: его замысел и тема диссертации (или того, что было диссертацией до того, как она внезапно схлопнулась и мгновенно превратилась в незавершенку) заключались в том, что каждый язык на Земле содержит по меньшей мере одно ключевое понятие, не поддающееся переводу. Не просто слово, а понятие, наподобие *déjà vu* во французском, звучащее безупречно и прозрачно на родном языке, но для толкования на иностранных языках требуются целые громоздкие абзацы, и то не всегда получается. В языке юп-ик, на котором говорят инуиты Берингова моря, имеется понятие «Эллам Юа» – духовный долг перед миром природы или проявление отзывчивости и благородства во время странствий по этому миру, или образ жизни, отдающий дань уважения душе другого человека, душе камня или дерева; иногда переводится как *душа*, иногда – как *Бог*, но не означает ни то, ни другое. В языке народа киче из языковой семьи майя встречается понятие Nawal – духовная сущность, но при этом обособленная от личности; иное начало, более или менее альтер эго или аватар, дух-охранитель, которого невозможно вызвать.

Он продолжил: если исходить из предпосылки о том, что в каждом языке есть нечто такое, чего нет в других языках, – категория, перевешивающая совокупность составля-

ющих язык слов, тогда утрата будет весьма весомой. Речь не столько о потере трех тысяч слов, обозначающих все на свете. Не существует трех тысяч слов, обозначающих все на свете; носителям языка юп-ик ни к чему описывать тигров, живя в высоких арктических широтах; носителям языков в джунглях ни к чему обозначать северное сияние. Речь вообще-то не о словах. Его замысел, идея, лежащая в основе диссертации, заключается в том, что уходят во тьму не просто языки, не просто три тысячи комплектов каждого слова, а три тысячи укладов жизни на Земле.

– Извини, – сказал он наконец. – Я выражаюсь чересчур витиевато.

– Нет, что ты. Мне интересно, – ответила она.

Лилия слушала его очень долго. Они встретились в полдень, а уже вечерело. Минули недели с тех пор, как он впервые обратил внимание на девушку, тихо сидящую в кафе «Матисс», проходя мимо витрины или заглядывая на чашечку кофе. Лилия частенько здесь бывала, и когда они оказывались там в одно и то же время, Илай старался присаживаться к ней поближе. В тот день, когда он, покинув Томаса и Женевьеву в кафе «Третья чашечка» по ту сторону перекрестка, забрел в кафе «Матисс», там, слава тебе господи, не оказалось свободных мест, и в отчаянии, очертя голову, он направился напрямик к ее столику, протиснулся на стул напротив нее и представился. По какому-то невероятному стечению обстоятельств она улыбнулась в ответ и назвала свое имя,

вместо того чтобы послать его подальше, дожидаться, когда освободится столик. И уже прошло то ли шесть, то ли семь часов. В кафе воцарилась тишина, и официантка дневной смены ушла домой. Ее сменщица, облокотившись о стойку бара, глазела на будничную улицу.

– Ну а ты? – спросил он. – Мне нравятся мертвые языки, как ты знаешь, а что нравится тебе?

– Живые языки, – ответила Лилия. – Чтение, фотография, пара-тройка других вещей. Ты работаешь поблизости?

– Да, в нескольких кварталах отсюда. Торчу в картинной галерее и пялюсь на стену четыре дня в неделю. А ты?

– На стену? А почему не на картины?

– Не так уж много там картин, а вообще-то их там вовсе нет... Я не люблю говорить о своей работе, – сказал он. – Я не в восторге от нее, если уж начистоту. А *ты* кем работаешь?

– Посудомойкой. Ты любишь путешествовать? Я недавно ездила в Нью-Мексико; ты там бывал?

– Несколько раз. И вот что любопытно, – сказал он, – мы говорим уже несколько часов, а я почти ничего о тебе не знаю. Ты из каких мест?

Она улыбнулась.

– Это покажется очень странным, – ответила она, – но я жила в стольких местах, что и сама точно не знаю.

– Понятно. А ты в Нью-Йорке давно?

– Недель шесть, – уточнила она.

– А до этого где жила?

– Ты хочешь знать, где я жила, когда села на поезд до Нью-Йорка?

– Да. Именно. Ведь ты же приехала сюда откуда-то.

– Из Чикаго, – сказала она.

Он подумал: наконец что-то проясняется.

– Долго там жила?

– Нет. Несколько месяцев.

– А до этого?

– В Сент-Луисе.

– А еще раньше?

– В Миннеаполисе, Сент-Поле, Индианаполисе, Денвере. На Среднем Западе. В Новом Орлеане, Саванне, Майами. В нескольких калифорнийских городах. В Портленде.

– А есть места, где ты *не* бывала?

– Иногда мне кажется, что нет.

– Ты заядлая путешественница.

– Да. Я стараюсь говорить об этом открытым текстом, – сказала Лилия.

Илай не совсем понял, что она имеет в виду, но не придавал этому значения.

– Ты говорила, что тебе нравятся живые языки, – напомнил он.

– Мне нравится переводить.

– Что переводишь?

– Что придется. Газетные статьи. Книги. Просто мне по душе этим заниматься.

Знаю четыре с половиной языка, не считая английского, рассказывала она, когда он попросил ее раскрыть подробности. Испанский, итальянский, немецкий, французский. По ее признанию, русский у нее в лучшем случае хромает. Кончики его пальцев согревали ее запястье.

– Мне завидно. Я не говорю ни на одном живом языке, кроме английского. Что еще ты любишь?

– Греческую мифологию, – сказала она. – Мне нравится репродукция Матисса над баром. Ради нее вообще-то я сюда и хожу. – Она кивнула на противоположную стену, и он обернулся, чтобы взглянуть. «Полет Икара», 1947 год, одна из поздних работ Матисса, того периода, когда он отказался от живописи в пользу декупажей из бумаги. У него отнялись ноги, тело перестало слушаться. Икар черным силуэтом падает сквозь синеву, руки распростерты воспоминанием о крыльях, вокруг яркие всплески желтых звезд в темно-синем небе. Он – бескрылый и почти у поверхности воды. Матисса не станет через семь лет. Икар стремительно падает в Эгейское море, и на нем красное пятно – символ последних ударов сердца в груди.

– Мне тоже нравится мифология. Когда ты увлеклась греческими легендами?

– Спустя два дня после моего шестнадцатилетия.

– Очень точно. Книгу подарили на день рождения?

– Нет, какой-то знакомый рассказал эту историю, вот я и прочитала при первой же возможности. Я не очень-то разби-

раюсь в Матиссе, но люблю эту репродукцию. И сюжет люблю, — сказала Лилия. — Пожалуй, это самая печальная греческая легенда. — Она сморгнула; в ее голосе вдруг послышались нотки переутомления. — Который час?

— Поздно, — сказал он. — Наверное, часов восемь. Можно я провожу тебя домой?

Лилия жила на съемной квартире с видом на вентиляционную шахту — каменную стену в трех футах от окна. Ночь наступала в половине второго пополудни. Когда Илай навещал ее, ему казалось, что он очутился в пещере или вне времени. Ложем ей служил матрас, брошенный на пол. В чемодане с крышкой, прислоненной к стене, было месиво одежды и мятый конверт. У нее имелось моментальное фото времен ее детства, аккуратно прикрепленное кнопкой к стене: Лилия в закусочной, ей двенадцать. Лето. Какой-то отдаленный южный штат. Они с официанткой облокотились на стойку.

Лилия: пальцы в чернильных пятнах и прекрасные глаза. Она носила серебряную цепочку и скрывала ее происхождение. Она была помешана на топографии языка: отслеживала алфавиты по картам таинственных земель, раздвигала тюль между *окном*, *fenêtre*, *finestra*, *Fenster*², и выглядывала наружу, выписывала длинные перечни слов и приносила домой книги на пяти языках. Лилия вела скрытный образ жизни увлеченного искателя. Она была несравненна; до встречи с

² «Окно» на франц., итал. и нем. яз. соответственно.

ней Илай избегал одиночества; он все время окружал себя всевозможными людьми, но не встречал никого, кто бы хоть отдаленно напоминал ее.

Ее образ мышления напоминал выкидное лезвие. Иногда она бодрствовала ночами напролет. Четыре-пять вечеров в неделю она мыла посуду в большом тайском ресторане у реки, где по ту сторону черной воды по ночам светился Манхэттен. Она возвращалась из ресторана в полночь, источая ароматы мыла, пара, арахисового масла и кухонной копоти; от натуги ее лицо краснело, а глаза неестественно горели. Она читала до самого утра и шевелила губами, силясь одолеть кириллицу, и залезала в постель к Илаю лишь на расвете.

Ее темные волосы, обкорнанные вкривь и вкось, приводили его в тайный восторг; он знал, что, когда они отрастали, Лилия стригла их самостоятельно и необязательно при наличии зеркала. Получалось грубовато, но это не могло испортить ее приятную внешность. Ее руки были исчерчены замысловатыми бледными шрамами, наводящими на мысль о ранении многочисленными осколками стекла в далеком прошлом; следы становились видимыми лишь в определенном освещении. Она никогда о них не рассказывала, а он не решался спросить. На носу у нее была россыпь из четырех-пяти веснушек, как у Лолиты. Создавалось впечатление, будто она хранительница страшных тайн. Он подсчитал, что с шестнадцати-семнадцати лет она в одиночку переезжает из

города в город. Она изредка упоминала про отца в Нью-Мексико и время от времени говорила с ним по телефону. У отца была подружка, с которой они нажили двоих маленьких детей, но Илай так и не выяснил, есть ли у Лилии другая родня. Например, мать. Когда он об этом спросил, она ответила, что никогда ее не видела, и замкнулась в себе.

Она переехала к нему в срединной точке – через три месяца после того, как он проводил ее домой из кафе «Матисс», и за три месяца до исчезновения. Совместное проживание не обошлось без сюрпризов. У нее был своеобразный образ жизни, в котором он усмотрел и сумасбродство, и упорядоченность, что нередко вызывало у него сомнения в ее здравомыслии. Скажем, он испытал смутное беспокойство, когда сидел у ванны, болтал с ней и смотрел, как она бреет ноги, меняет лезвие и затем проделывает то же самое заново. Время от времени она останавливалась, чтобы отпить воды из высокого стакана, поставленного на край ванны, возле четырех-пяти флаконов шампуня, которыми она пользовалась попеременно. Лилия могла часами пропадать с фотоаппаратом, особенно в грозу. Ее смена в ресторане заканчивалась до полуночи, но ненастными ночами она приходила домой к трем-четырем часам утра, с прилипшими ко лбу прядями волос, промокшая до нитки. Он мог бы заподозрить ее в неверности, если бы не состояние ее одежды – было ясно, что всю ночь она провела под открытым небом. Она сдирала с себя слой за слоем хлюпающую одежду, ужасно довольная

и продрогшая, с холодной на ощупь кожей, а затем битый час парилась под обжигающим душем и заваливалась спать до полудня. Она никак не объясняла свои вечерние вылазки, только говорила, что ей нравится разгуливать под ливнем с непромокаемым фотоаппаратом. Он сторал от любопытства, но ни разу не поинтересовался, где она пропадает. Он старался не вытягивать из нее подробности, не приставать с расспросами о шрамах, о семье или о чем-то еще. Она возникла ниоткуда, будто у нее не было прошлого, и даже в начале, когда все было просто, казалось, зыбкая логика ее существования в его жизни может рухнуть от придирчивых расспросов. Он предпочитал ничего не знать.

– Чего бы мне хотелось, – тихо сказала она в третью ночь, проведенную с ним, – так это покончить с разъездами и побыть некоторое время на одном месте. Порой мне кажется, что я путешествую чересчур часто.

А раздосадованному неприкаянному Илаю, выполняющему постылую работу, несостоявшемуся ученому, неспособному разобраться, кто он, писатель, непроявившийся гений или аферист от науки, сама идея чересчур частых путешествий казалась невообразимо чуждой, и, притянув Лилию к себе, он снова овладел ею, представляя, как останется с ней навсегда. Но это была всего лишь их третья ночь.

Лилия легко увлекалась. Она испытывала присущий фотографу восторг перед своеобразием освещения – лазерный диск отбрасывал радугу на потолок спальни, свечи мерцали

в отражении бокала с красным вином, белый Эмпайр-стейт-билдинг пронзал ночное небо. Она обожала детали и окружающий мир и неизбежно запутывалась в них. Неистово прекрасные закаты доводили ее до слез. От светлячков она теряла голову. Она была благородным отклонением от нормы и зачастую заставляла понервничать, но она стала его песнью-псалмом. В конечном счете делящие кров влюбленные открывают для себя, каково это не жить в одиночестве. Лилия с виртуозной легкостью проскользнула в складки его жизни. Ее скудные пожитки затерялись в его квартире.

Впоследствии всегда казалось, что он любил ее отчасти, потому что она превращала его в пустомелю. Он говорил о путешествиях, а она путешествовала. Он рассуждал о фотографии, а она занималась фотографией. Он размышлял о языках, а она переводила с языка на язык. Ему казалось, будь она сценаристом, то писала бы киносценарии, вместо того чтобы разглагольствовать о них, набрасывать синопсисы и анализировать, как это делал Томас. Будь она танцовщицей, она бы танцевала. Больше всего он любил ходить с ней в кафе, когда там не околачивались его друзья, и они могли сидеть вместе и читать газету в блаженной тишине. Или же послеполуденные часы, когда он сидел за столом, считая написанные предложения, а затем вычеркивал или занимался изысканиями, а тем временем она сидела возле него в кресле и читала русские тексты, беззвучно шевеля губами. И жизнь пришла в состояние, близкое к совершенству, пока он не об-

наружил списки.

Первый – перечень имен на десятке страниц – начинался и оканчивался именем *Лилия*. От большинства имен тянулись стрелки на поля, где мелким шрифтом отмечались топонимы: Миссисипи, южный Канзас, центральная Флорида, Детройт. Второй – список слов на нескольких языках, которые могли означать что угодно. Он распознал испанское слово, означающее «бабочка» и немецкое слово «ночь» – *mariposa*, *Nacht*, но остальные были ему неизвестны. Подобно списку имен, бумага выглядела старой, и почерк эволюционировал: оба списка вначале были выведены неуклюжими печатными буквами, которые становились мельче и изящнее. Третий свод слов и фраз был длиннее и принадлежал иному жанру; никаких признаков эволюционной трансформации, и все представленные языки были либо мертвы, либо на грани исчезновения. Он догадался об этом лишь благодаря тому, что узнал целые фразы из своих тетрадей. Эти страницы были гладкими и выглядели свежо. Он перечитал последний список несколько раз, но не уловил никакой системы в переписанных ею фразах. Слова происходили с пяти континентов. Ее чемодан также содержал шесть-семь книг и потрепанную визитку частного детектива из Монреаля, но его интересовали списки.

– Я просто коллекционировала слова, – объяснила она. – Я не собиралась заниматься плагиатом, мне просто нравилось, как они выглядят. Захотелось сохранить их на бумаге, – ска-

зала она. — Как сплющенные цветы в книге.

Он счел это вполне вразумительным. Ему тоже нравились письма.

«А что же остальные страницы, любимая моя...»

— Я составляю списки, — сказала она, утверждая очевидное. — Я всегда этим занималась.

Взволнованный, он принес ей листы бумаги:

— Лилия, что это такое, скажи, что это значит.

Но она оставалась невозмутимой. Он нервно ходил из угла в угол, она сидела в кресле, молча наблюдая за ним. Ей было интересно знать, с какой стати он вообще рылся в ее чемодане.

Он прилагал усилия, чтобы его голос звучал ровно.

— Меня интересуют имена.

В ту ночь в постели она начала рассказывать ему длинную историю про пустыни и вымышленные имена, про разезды, таксофоны в мотелях и про голубой «Форд валиант» в горах. Она говорила ровным голосом, ее руки непрерывно касались его кожи. Он слушал, поначалу не веря своим ушам, шокированный правдой, но не настолько, чтобы не заметить, как она очерчивает контуры крыльев на его лопатках.

В языке народности дакота есть неподдающееся переводу слово, которому присуща половая принадлежность. Оно обозначает одиночество, свойственное матерям, разлученным с детьми. Однажды, когда они лежали в постели, Илай назвал это слово Лилии, и она невольно подумала о матери.

Как-то в интервью мать Лилии сказала, что ей хотелось бы предать забвению свою дочь. (Интервью транслировалось в программе «Нераскрытые преступления». Оно было где-то записано, хотя Лилия не может заставить себя посмотреть его заново.) Эти слова звучали жестоко, но их прагматичность брала за душу. У нее пропала дочь: такая беда оставляет на человеке неизгладимый след, как отнятая конечность.

Под конец ноября, в ночь ее исчезновения, сильный снегопад завалил лужайку перед домом. Перед тем как Лилия вышла из дома в последний раз, какой-то стук заставил ее вздрогнуть и проснуться, а может, она уже бодрствовала. Когда стук повторился, она вскочила с кровати и по холодным половицам подбежала к окну, распахнула створки, и на нее пахнуло студеным воздухом – лужайка сияла в снегу и лунном свете, а поодаль стеною вздымался лес. На морозе ее дыхание побледнело. Отец стоял под окном на снегу. Улыбаясь, он махал ей рукой и прижимал палец к губам: «Ш-ш-ш». Она вернулась в комнату, схватив своего кролика (сине-

го цвета с изумленными круглыми глазами из пуговиц, мерцавших в полумраке), и протопала по тихой столовой. Тихо пискнула оголенная половица, когда она миновала комнату сводного брата. Он лежал тихо, но не спал, а прислушивался к ее нетвердым шагам, удаляющимся по ступенькам. Лилия перепрыгнула через девятую, скрипучую ступеньку и просеменила на цыпочках по лестничной площадке, доставая плечом до перил, сквозь тени гостиной и притихшую кухню. Отворила дверь в переднюю и выбежала босиком на снег.

Отец вышел ей навстречу и с легкостью подхватил на руки, и как только ее ступни оказались в воздухе, она уронила кролика наземь.

– *Моя Лилия*, – твердил он, – *Лилия, моя ласточка...*

Он не видел ее года полтора, но помнил, как надо ее держать, чтобы она не упала. Он повторял ее имя, унося прочь, а руки Лилии обхватывали его шею, сердечко билось у его плеча и зубы клацали от холода. Она спрятала глаза, уткнувшись ему в плечо. Он быстро нес ее по лужайке в лес, где царили тишина, мрак и ожидание. Тут воздух был чуть теплее, и снег не проникал сквозь ветви на лесную подстилку. Снег лежал только на подъездной дорожке, которая вилась бледной лентой между деревьями. Ее брату, наблюдавшему в окно на лестничной клетке, показалось, будто лес захлопнулся вслед за ними, как ворота.

Вдалеке от дома, за стеной леса, по дороге покатила машина; по мере ее удаления мать Лилии заерзала во сне. Ее

брат отошел от окна и вернулся в постель.

Таково было ее исчезновение, о котором сообщалось в газетах.

Наутро Илай не стал ее будить и отправился в кафе один. Взял кофе, газету и уселся в углу, пытаясь погрузиться в гомон голосов и бряканье кофейных чашек. Прежде чем пробежаться по заголовкам, он несколько минут созерцал дату на газете, надеясь на успокоительное воздействие сегодняшнего числа, набранного типографским шрифтом. Он перечитывал первую полосу, но не мог сосредоточиться, чтобы открыть первый раздел. Он пролистал газету до «Искусства и отдыха»: одни музыканты покорили Бродвей и грозились остаться там навсегда, другие терпели неудачи и могли вскоре кануть в Лету; некоторые фильмы были превосходны, а другие – нет; ни то ни другое не имело никакого значения. Он сложил газету и, пытаясь раскусить Лилию по ассоциации с «Икаром», некоторое время рассматривал репродукцию на противоположной стене, но Икар упорно падал сквозь равнодушную синеву. Илай достал блокнот из сумки, затем засунул обратно. Он оставил свой кофе и вернулся домой.

Дома ее не оказалось, и он провел томительный день, теряясь в догадках, где она пропадает. Лилия вернулась вечером и, как обычно, весьма туманно объяснила, куда ходила. Была в книжном, сказала она, потом в парке, зашла в другой парк, а всему этому предшествовала встреча с Женевьевой

на улице. Лилия недолюбливала Женевьеву и подозревала, что это чувство взаимно, но когда Женевьеву переполняли эмоции, та не могла сдержаться, чтобы не поделиться своими переживаниями с первым встречным, вот и затащила Лилию в ближайшее кафе.

– Это граничило с вредительством, – пожаловалась Лилия. – Мы так засиделись, что мне пришлось все время что-то заказывать. Я выпила две чашки кофе и съела булочку, пока она вещала про теорию струн на протяжении двух чашек кофе и булочки, но я, хоть убей, и сейчас не знаю, что это за теория.

В ней задействованы струны, – сказал он устало, – они там вроде как колеблются.

Илай уселся на диван и прижал ее к себе, в равной мере с облегчением, умиротворением и тревогой, пока она расспрашивала его о колебаниях струн. Он понятия не имел, о чем речь, кроме того, что они колеблются. Метафорические струны? У него не было уверенности. Не исключено. Он не очень разбирался в физике. По правде говоря, он ничего не смыслил в... ей даже булочки не понравились, продолжала она, не дав ему договорить. Она уже была не в состоянии влить в себя хоть еще одну чашку кофе. Но день сложился удачно, сказала она, вопреки Женевьеве: Лилия раздобыла русское издание «Горячки»³. Он о таком и не слыхивал. Она повторила заглавие по-русски, очевидно, наслаждаясь

³ Название придумано автором.

своим безупречным произношением, и встала, чтобы показать ему книгу. Непостижимая кириллица резко бросилась ему в глаза с обложки, поверх искусно размытой черно-белой фотографии, на которой, возможно, была, а может, не была изображена девушка в ночной сорочке, разгуливающая по раскаленным угольям, а может, по воде. «Вот она – Великая Русская Литература», – провозгласила Лилия. При полном незнании русского языка он никак не мог оспорить это утверждение.

– Поздно уже, – сказал он наконец.

Илай сидел в обнимку с ней на диване, а она молча пролистывала первые страницы. В тепле от соприкосновения с ней он впал в полудрему и начал было видеть сны, вдыхая благоухание ее очередного шампуня – корица с фиалками.

Потом он зажег свечу в спальне, и она улеглась рядом с ним, глядя в потолок. О сне пришлось забыть. Он ждал, и спустя какое-то время Лилия снова заговорила. Поток городов, местечек, имен. Неужели она говорит правду, недоумевал он. С какой стати ей было лгать. Ее голос звучал почти бесстрастно.

– Я видела миражи в пустыне – лужицы воды на шоссе. Мы ехали в маленькой серой машине... – Она повернулась на бок лицом к нему и взяла в пригоршню его ягодицу, и поползла вдоль внешней поверхности бедра. – Не было никаких оттенков. Песок был почти белый. Мы ехали так долго, и за нами следовала другая машина... – Она запнулась

на полуслове, ее рука перестала двигаться. Он прижал ее к себе и коснулся ее волос, ласково поцеловал в лоб. «Лилия, Лилия, все в порядке, ш-ш-ш...» Но она не была расстроена, просто ее мысли где-то блуждали, и он чувствовал, что она ускользает от него. При свете свечи она улыбнулась, но взгляд у нее был отсутствующий. – В тот год нам предстояло проехать через тысячу городов, и ночью мы очутились в Цинциннати...

Он проснулся от беспокойных сновидений о машинах и пустынях, вышел как бы из сумеречного состояния. Она посапывала возле него в первых утренних лучах. Ее рука лежала поверх скомканных простыней. Ее губы слегка приоткрылись; ему было видно движение ее глаз из-под век. Илай стал думать, что ей снится, и опечалился. Он встал так, чтобы не разбудить ее, и вернулся в кафе, где заваривали крепкий кофе, но газета снова его разочаровала. Он все еще не страхнул с себя сон и был ословелым, когда уходил. Неужели простая история способна так резко выбить из колеи? Он ощутил, как земля уходит из-под ног.

В кафе «Третья чашечка» он обнаружил Томаса и Жене-вьеву и подсел к ним ненадолго, пытаясь забыться в хитро-сплетении аргументов и доводов, а затем отправился отбывать совершенно бессодержательную четырехчасовую смену в галерее. Когда к вечеру он пришел домой, она была в ванной. Судя по бритвенным лезвиям на кромке ванны, она уже покончила с бритьем ног. Теперь, скрестив ноги, она сидела

в ванне, погруженная на целый фут в воду, и занималась выщипыванием лобковых волосков посредством пинцета. Очевидно, сие действие требовало от нее максимальной сосредоточенности; она едва обратила на него внимание, когда он вошел. Он и раньше заставлял ее за этим занятием и всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Он постоял секундочку рядом, наблюдая за ней без комментариев, а затем присел на крышку унитаза.

– Вряд ли ты получаешь от этого удовольствие, – сказал он.

Она улыбнулась.

– Смотрю, и у меня мурашки по коже. Ты как, в порядке?

– Вполне, – ответила она приятным голосом. – Спасибо, что спросил.

– А это... это не... – Он сделал жест в ее сторону, но она не посмотрела на него.

– Что?

– Это, гм, не больно?

– О-о, – сказала она. – Нет, вовсе нет.

– По-моему, в этом есть что-то чрезмерно навязчивое, ты не находишь?

Лилия промолчала.

Он уперся локтями в колени, сцепил перед собой пальцы и уставился промеж запястий в белый кафельный пол.

– Я только что с работы, – сказал Илай. – Ни одна душа не заглянула в галерею. Я проторчал там один четыре часа,

глазея на стены.

Она посмотрела на него.

– Я думал о твоём рассказе, и не мог не... Я думал о твоём рассказе, – сказал Илай, – и не стану лукавить, он меня слегка встревожил.

Она безмолвствовала. Ее лицо ничего не выражало. Мелкие движения ее руки продолжались. Рябь на поверхности прозрачной зеленой воды изламывала серебристый пинцет.

– Даже больше, чем слегка. Уже то, что тебя похитили, само по себе нечто из ряда вон выходящее, но просто... просто, – сказал он, – ты, похоже, всегда уходишь; все твои рассказы о себе – про исход.

Он стал догадываться, что отвечать она не собирается.

– По дороге домой я купил тебе гранат. – Он склонился к ней и проворно поцеловал в лоб, затем сел на крышку унитаза, ощущая привкус ее пота на губах.

– Спасибо, – сказала Лилия. – Очень мило с твоей стороны.

Какое-то время он молча смотрел на нее.

– Почему ты их так любишь?

– Что именно?

– Гранаты.

– А-а. – Последовала долгая пауза, во время которой она методично избавлялась от волосяного покрова. Он смотрел в точку, где вода касалась ее кожи. Ее руки и ноги были слегка тронуты загаром, но туловище было на несколько оттен-

ков бледнее. Белый живот, зеленая вода, серебристый металл в руке, шевелящейся под поверхностью подернутой зыбью воды, задумчивая ритмика движений. В ней, казалось, присутствовало не совсем человеческое начало. Бледное, чисто выбритое создание, полурусалка-полудева. *Моя водоплавающая возлюбленная*. Вода, как обычно, была чересчур горячей; бусинка пота оставила след между ее грудей. Ее кожа лоснилась. – Не знаю, – сказала она, – они мне всегда нравились.

– Ты во всем так уклончива?

Но она не стала ввязываться в споры, а прервала выщипывание, дотянулась до стакана воды на бортике ванны, пригубила, приложила на секундочку ко лбу, вернула точно на то же место и снова взялась за пинцет, не обращая внимания на Илая.

Вопрос напрашивался сам собой. Он заговорил ровным голосом, не отрывая глаз от пола:

– Я должен знать, собираешься ли ты уходить от меня.

Она прервала свое занятие и положила пинцет рядом с полупустым стаканом; сцепила пальцы под водой и на мгновение сосредоточилась на них.

– Не исключено, – сказала она.

Он медленно встал и вышел. Квартира показалась ему чужой. Он прошелся пару раз из угла в угол, постоял перед окном, скрестив руки на груди. Присел на несколько минут за свой стол, снова встал, открыл несколько книг и сразу за-

хлопнул. Наконец, распахнул окно, выходящее на пожарную лестницу. Кто-то оставил на подоконнике книгу. Он зашвырнул «Горячку» куда подальше в пустоту; осознав, что натворил, попытался схватить ее уже в воздухе, но тщетно. Тихо ругнулся и вылез из окна на площадку пожарной лестницы, высматривая книгу, перегнувшись через перила, но на тротуаре ее не было видно. Он посидел снаружи в надежде, что кто-то ее подберет и громко воскликнет, чтобы он услышал, в этот момент он смог бы оказаться полезным. Пешеходы проходили по мостовой в одиночку или группами, заезжали на Уильямсбургский мост или съезжали с него, катили на велосипедах, вели беседы; до пожарной лестницы долетал смех. Беззвучно пролетел самолет. Вроде бы внизу никто не подобрал книгу. Илай зашел внутрь, только когда солнце опустилось ниже крыш. С реки задул холодный ветер.

Квартира притихла. Он обнаружил ее сидящей в ванне, скрестив ноги, и разглядывающей руки. Вода остыла. Она дрожала и, казалось, ни разу не шевельнулась после его ухода.

– Я выбросил твою книгу в окно, – сказал он. – Прости меня.

Она пробормотала что-то невнятное.

– Я, ей-богу, не хотел, – сказал он. – Извини. Я не знаю, почему я так поступил. Просто я не хочу, чтобы ты уходила.

– Я знаю, – прошептала она. – Я не стремлюсь к этому, Илай, просто я всегда...

– Ты всегда что?

– Попытайся представить, на что это похоже, – сказала она. – Я не умею оставаться.

– Иди ко мне. – Он вытянул ее из ванны, набросил на плечи полотенце и крепко прижал к себе. Он слушал биение ее сердца у своей груди. Она положила голову ему на плечо, и холодная вода с ее волос просочилась на его кожу. Она позволила ему взять себя за запястье и отвести в спальню. Ее пульс не ощущался в кончиках его пальцев. Она сползла на кровать, по-прежнему не глядя на него, и только сейчас он заметил ее слезы. Лилия натянула одеяло на голову и отвернулась от него, свернувшись калачиком.

Илай оставил ее в покое. На кухне он разыскал гранат и быстро разрезал на четыре дольки на бледно-голубой тарелке. Он решил, что контраст гранатового и голубого будут ей приятны. Любая мелочь может предотвратить кораблекрушение. Он отнес тарелку в спальню и поставил на прикроватный столик, чтобы найти на ощупь фонарик под кроватью. Он разулся, снял ремень, джинсы, бросив их горкой на пол, зажал в зубах фонарик и забрался под одеяло, как в пещеру. Илай высунул руку, чтобы прихватить голубую тарелку, и затем повернулся к ней, высветив в темноте ее лицо.

– Не бросай меня, – зашептал он. – Оставайся, я буду покупать тебе гранаты и не буду больше выбрасывать твои книги из окна. Обещаю.

На ее заплаканном лице мелькнула улыбка.

– Вот, – сказал он, – поддержи фонарик.

Она села и взяла у него фонарик под шатром-одеялом, натянутым над их головами. Он сел, скрестив ноги, с тарелкой на коленях и разодрал дольку граната, от чего сок брызнул ему на руки, замызгав простыни. Илай принялся кормить ее бусинами граната, по две, по три зараз, и слезы высохли у нее еще задолго до того, как губы покраснели.

Лилия ушла из дома матери чуть за полночь. Утром ее сводный брат Саймон первым спустился по лестнице; перед рассветом он проснулся от озноба. По дому разгуливал холодный ветер; неплотно закрытая наружная дверь распахнулась после ее ухода, а еще было разбито окно на кухне. Вода в стакане на тумбочке у кровати замерзла.

Он вылез из постели и, наподобие плаща, накинул на плечи одеяло, которое тянулось тяжелым шлейфом по ступенькам, собирая пыль. Линолеум на кухонном полу под его босыми ступнями был ледяным. Пальцы ног у него почти сразу онемели. Дверь в кухню была распахнута настежь, и через порог намело снегу. В тот час воздух снаружи пронизывал сероватый свет, возникающий над северными ландшафтами незадолго до восхода солнца, когда все кажется переутомленным и как бы ненастоящим. Он сидел в дверях, укутав плечи в одеяло и разглядывая лужайку. И хотя картина снаружи полностью совпадала с его ожиданиями, в тот миг ему захотелось к маме, а еще он лишился дара речи. Он высунулся за порог, дотянулся до дверного колокольчика и принялся непрерывно звонить.

Мать почти мгновенно очутилась рядом с ним, а затем взбежала обратно по лестнице. Он по-прежнему стоял в дверном проеме, прислушиваясь к ее шагам наверху, к ее

крику при виде опустевшей спальни Лилии, к ее шагам вниз по лестнице. Спустя мгновение она звонила по телефону, диспетчеру в полиции понадобилось несколько минут, чтобы понять, что она говорит. Она позвонила наиболее крайнему из двух своих двух бывших мужей и кричала непристойности на его автоответчик, пока тот не отключился. Она повесила трубку, содрогаясь, и посмотрела на сына. Ее лицо побелело. Саймон поймал ее взгляд и тотчас отвел глаза. Его немного заинтересовало то, что его дыхание стало видимым внутри дома.

– Лилия уронила своего кролика, – сообщил он, потрясенный. – На снегу до сих пор лежит стекло.

Кухонное окно было разбито накануне вечером, и стекла еще блестели на снегу снаружи. Она на мгновение задержала взгляд на разбитом окне.

– Помоги мне, – прошептала она. – Обуйся. Принеси веник.

Он натянул сапоги поверх пижамы и сбросил одеяло на кухонный пол. Они поработали в лихорадочной тишине совком и метлой, собирая осколки из снега в коробку из-под обуви из чулана. Когда они закончили, манжеты его пижамы и запястья замерзли и вымокли. В дверях кухни мать вдруг повернулась к нему – он вздрогнул и инстинктивно вскинул руку, чтобы прикрыть лицо, но она всего лишь вложила коробку с битым стеклом и снегом в его руки. Картон размок.

– Спрячь это, – велела она тоном, не терпящим возраже-

ний, как он уже усвоил, – и принеси мяч.

– Какой мяч? – Он был слишком озадачен, чтобы плакать.

– Любой, Саймон. Постой-ка...

Мать зашла в кладовку и вынесла три бутылки виски, одна из которых была почти пуста. Она бережно сложила их на снег поверх битого стекла и сказала:

– Живо, живо!

Саймон отнес коробку в дровяной сарай и положил под опрокинутое трухлявое кресло. На полу лежал старый сдутый баскетбольный мяч. Когда он принес его, мать, плача, разговаривая сама с собой, пыталась второпях прилепить пластырем картонку к окну, стоя на кухонном стуле, который принадлежал Лилии еще вчера вечером. Он пошел наверх и тихо оделся с ощущением огромной официальности. Он натянул брюки, которые надевал только по особым случаям, свитер, пропахший пылью, и свои парадные туфли. Он причесался без напоминания, хотя еще не доставал до зеркала, чтобы видеть свою шевелюру. Вскоре прибыла полиция, наводнив кухню синими униформами; они нанесли в дом грязного снега и рассеялись по лужайке, чтобы ее фотографировать, но не под окном, явно разбитым за день-два до этого. Саймон, объясняла мать сквозь слезы и истерику, играл баскетбольным мячом в доме. Мяч утонул в снегу. Она говорила им, что давно уже убрала осколки, что кто-то должен прийти и вставить новое стекло. Они безразлично кивали. Фотографировали участок по ту сторону, ближе к подъезд-

ной дороге, правее. Идеальный кадр: следы босых детских ножек из дома, отчетливо видные на снегу, через несколько шагов встречаются с отпечатками мужских зимних ботинок. Именно здесь лежит синий вязаный кролик, заиндевелый от мороза. Здесь же вмятина в снегу, где он оторвал ее от земли. Следы ботинок удаляются в лес и за рамками кадра совпадают с отпечатками покрышек на дороге.

Кролик ненадолго стал местной достопримечательностью; несколько региональных газет опубликовали фотографии кролика, уставившегося в небо. Саймон забрал его в тот полдень, когда фотографы закончили съемки. Он ненадолго усадил кролика в ванну и сам уселся на край смотреть, как из него просачивается наружу и собирается лужица синеватой воды. Потом он положил его в сушилку, а сам уселся на перевернутый ящик из-под молока наблюдать, как кролик кувыркается в барабане. Из сушилки он вышел горячим, но все еще влажным, поэтому Саймон положил его обратно и до головокружения смотрел, как тот вертится, размазанный в одно пятно. И ему пришлось отвести взгляд. Его мама непрерывно рыдала на кухне, разговаривая о Лилии и ее отце: она же знала, что он собирался сделать нечто подобное, именно поэтому она добилась судебного запрета на встречи с ребенком. Повсюду слонялись полицейские. Некоторые из них захотели поговорить с ним. Он отвечал на вопросы вежливым монотонным голосом, главным образом привирая, и когда они закончили, забрал кролика наверх, в свою комнату,

и усадил на сложенное полотенце на углу кровати. Он так и не просох, но Саймону не хотелось оставаться внизу.

Мама пришла к нему вечером, когда почти все ушли. На кухне оставались социальный работник и полисмен, прилаживающий какое-то приспособление к телефону, а у дороги стояла машина с двумя полицейскими. Саймон старался не смотреть ей в глаза.

– Спасибо, что помог со стеклами, – сказала она.

А тем временем в номере мотеля в трех сотнях миль к югу отец Лилии стриг ей волосы. Поначалу на ее руках были марлевые повязки, наличие которых сразу же вызывало недоумение; она сидела на стуле в ванной и смотрела, как мимо лица темные локоны опадают на повязки, на пол, на ноги, по мере того, как отец ходил вокруг нее с ножницами.

– Теперь не шевелись, – сказал он ласково, хотя она и так сидела неподвижно.

Лилия не ответила, но поморщила нос от запаха осветителя. Он жег кожу гораздо сильнее, чем она представляла. Лилия вздрогнула и попыталась отвлечься от запаха и пощипывания, пока он стоял рядом и вел непрерывный убаюкивающий монолог:

– А рассказывал ли я тебе, ласточка, о тех временах, когда я служил магом-волшебником в Вегасе? Было там такое местечко под названием «Ле Карнивале», одно из самых больших и старых казино, и...

А Лилия ничего не говорила, но он и не ожидал от нее отклика. Она так и не запомнила, почему они вообще уехали, зато помнила, что в первый год странствий она мало разговаривала. Она пребывала в полной неопределенности, и ее воспоминания тускнели на солнце, и странность этой стремительной новой жизни делала ее робкой. Он вел машину на юг. Он разговаривал с ней, независимо от того, отвечала она или нет, и именно его голос имел постепенное успокаивающее воздействие. Он мог рассказывать о разнообразиях камня, о мрачных картинах Гойи или о чудесной винтовой лестнице на картине Рембрандта «Философ в раздумье», о генетике: о характерных сигнатурах персистентных генов, непрерывно реплицирующихся на протяжении ослабляющихся поколений. Когда она затихала и унывала, что частенько случалось поначалу, он предпочитал выручать ее с помощью фактов: «А ты знаешь, что мой любимый композитор оглох на пике своей известности?», «А я рассказывал тебе о лунах Юпитера? Одна из них покрыта льдом...». Поначалу она не очень хорошо его знала, но ее до глубины души умиротворял его голос. В ту ночь, двадцать часов спустя после того, как он оторвал ее от снега, он рассказывал ей про арочный мост в саду у Моне, как он видоизменяется на протяжении творческого пути художника от резкой четкости до почти абстрактной расплывчатости.

– Подумать только, – говорил он. – Предмет меняется вместе с воспоминаниями. – Он протер ее воспаленную голову

полотенцем. — *Et voilà!*⁴ — сказал он. — Приготовься, моя ласточка, это будет неожиданностью... — И он приподнял Лилию к туалетному зеркалу в мотеле.

Эффект был ошеломительный. Она запомнила этот момент, когда, впервые поглядевшись в зеркало, не узнала себя. Угловатый ребенок со взъерошенными волосами пялился на нее из зеркала. И вдруг она испытала неизъяснимое чувство безопасности. Не только безопасности, но и восторга. Впервые она почувствовала, как в ее груди поселилось истинное счастье, словно распахнулись настежь ворота.

— Нравится?

Она улыбнулась.

— Рад, что ты одобряешь. Теперь нужно обзавестись новым именем, — сказал он.

Первое вымышленное имя было Габриэль, потому что с короткой стрижкой она стала похожа на мальчика, и он решил, что немного двусмысленности не помешает. Вместе с тем имя не казалось таким уж вымышленным. Имя Габриэль ощущалось таким же подлинным, как Лилия, и не менее подлинным, чем вереница фантомных имен, которые последовали за этим. После Габриэль она стала Анной, Мишель, Лаурой, Мелиссой, а по весне — Руфью. Если оглядеться назад, все ее детство прошло под вымышленными именами, а воспоминания о нем стерлись. Чем больше времени проходило, тем труднее было сказать, что было наяву, а что нет. На

⁴ И вуаля (*фр.*).

ее руках были шрамы, объяснения которым она не находила.

– О чем была книга? – спросил Илай сонным голосом. – О какой горячке речь?

Они лежали под простынями, запятнанными гранатовым соком, осколки голубой тарелки валялись где-то у изножья кровати, и он опять извинялся за то, что вышвырнул книгу из окна. Теперь, когда она сгинула, он ею заинтересовался.

– О воспоминаниях, – ответила Лилия вялым голосом. – О том, как они тускнеют, если долго на них пялиться. – Через некоторое время он принялся выпытывать у нее новые подробности, но она уснула, посапывая у его плеча.

Достучаться до нее было так же трудно, как полюбить человека, с которым редко встречаешься в одном и том же помещении. Но в абстрактном смысле она была само совершенство. Илай вынужден был признать, что вскоре после ее переезда к нему она заинтересовалась его научной тематикой не меньше, чем он сам. Жизнь Илая протекала в русле его исследований; он не мог представить себя в отрыве от своей работы. Он хотел узнать о своей теме как можно больше. Он думал о ней в любое время суток. А Лилия окунулась в нее с головой, закружилась с ней в вихре танца, вспыхнула к ней страстью. Ей была доступна поэзия многообразия, отчужденности, непримиримых географических понятий: в одном из языков майя имеется девять различных слов, обо-

значающих синий цвет. (Он давно знал об этом, но именно она заставила его задуматься, как же выглядели эти непереволимые оттенки синего.) В языке древней Калифорнии винту нет слов «право» и «лево»: носители языка разграничивают «приречье» и «предгорье» с тех пор, когда считалось данностью, что люди проводят жизнь, рожают детей и умирают в местности, где появлялись на свет они и их прапрадеды. Такой язык распался бы у моря или вдали от реки и горного хребта; стоит пересечь границу, и точки отсчета исчезнут, не будет слов для описания ландшафта, по которому мы передвигаемся, – вот какую непостижимую цену придется платить за расставание с родиной. Или возьмем австралийский язык гуугу йимитир, который отличается пристрастием к точной ориентации на местности: например, нельзя сказать: «Лилия стоит по левую руку от меня», а нужно сказать: «Лилия стоит к западу от меня». В языке нет переменных величин, а только север, юг, восток, запад. Если вы ничего не знаете, кроме этого языка, смогли бы вы мыслить категориями относительности, изменчивости, неопределенности, неустойчивости, иллюзорности, а не явственности – миражей, оттенков серого? Она погружалась в чтение его книг и выныривала с вопросами, а порой он читал ей вслух свои заметки: «Я вижу сны на языке чамикуро, – сказала последняя носительница этого языка репортеру „Нью-Йорк таймс“ в деревне из соломенных хижин в перуанских джунглях в последний год двадцатого века, – но я не могу никому пере-

сказать свои сны. Некоторые вещи невозможно выразить по-испански. До чего же тоскливо остаться последней».

Он оторвал взгляд от тетради и увидел, что в ее глазах стояли слезы. Если сны последнего носителя чамикуро не переживут переноса в другой язык, тогда что еще утеряно? Что еще, поддающееся выражению на этом языке, не может быть высказано на другом? Каждые десять дней, в среднем, исчезает один язык. Умирают последние носители, слова становятся достоянием памяти, лингвисты изо всех сил сберегают остатки. Каждый язык в конце концов доживает до последнего носителя; единственного, кто владеет языком, на котором некогда говорили тысячи или миллионы. Она блуждает в море испанского, китайского или английского, возможно, ее обожают многие и все же ей беспросветно одиноко, она бегло, но скрепя сердце говорит на языке своих внуков, но не может пересказать свои сны. Сколько утрат способен вместить один человек? Его последние слова объемлют целые цивилизации.

В языке племени хопи нет различия между прошлым, настоящим и будущим временем. Разграничений между ними не существует.

– Как это отражается на времени? – спросил он как-то вечером, слегка захмелев от красного вина. Они уже захлопнули свои книги в тот вечер.

Пальцы Илая бегали по ее ключице, нащупывая ямочку под горлом. Наступил октябрь. До ее исчезновения остава-

лась одна неделя.

– Нет, – сказала она тихо, – как это отражается на свободе воли?

Поглощенный лобызанием ее шеи, он не сразу уловил смысл сказанного. Но он не мог уснуть в ту ночь. И когда спустя несколько часов до него дошел смысл ее слов, он выскочил из постели и долго сидел в темной гостиной, стряхнув с себя сон, прислушиваясь к ее дыханию в смежной комнате.

Как это отражается на свободе воли? *Ты исчезла. Ты исчезаешь. Ты исчезнешь.* Если найдется язык, в котором эти три предложения звучат одинаково, тогда как мы можем утверждать, что они отличаются?

Вечером в день исчезновения Лилии Илай просидел несколько часов за столом, пытаясь сначала читать, затем уставился на экран компьютера, потом разглядывал свои руки. *Я сдаюсь.* Она либо не расслышала это послание, либо расслышала, но все равно не вернулась. Он прилепил белую салфетку с внутренней стороны единственного окна с видом на улицу в спальне. Он был готов на что угодно. Салфетка отдаленно напоминала флаг. Когда охотники за всехсвятскими угощениями удалились, он вернулся за свой стол, и часы пролетели незаметно. Пять утра: холодный серый свет. К исходу ночи жилище показалось иллюзией. *Она была здесь мгновение назад, в постели, в душе; ее полотенце на полу ванной еще влажное; это не может происходить наяву.* Он

уснул на рассвете, положив голову на руки, прислушиваясь, не зазвучат ли ее шаги, и спал в таком же положении на следующую ночь. Прошло два дня, прежде чем он заставил себя хотя бы взглянуть на постель. Скомканное одеяло все еще хранило отпечаток ее фигуры.

Через день после ее исчезновения он купил карту континента. Он запомнил все места, о которых она рассказывала, и обвел в красный кружок города, через которые она проезжала, высматривая закономерности и прогнозируя очередной город в последовательности. Если это вообще возможно, он ее найдет. Он внушал себе, что если долго смотреть на карту, то можно угадать, куда она отправилась.

Отец Лилии купил карту на круглосуточной бензоколонке по пути сквозь тьму к дому бывшей жены за несколько часов до похищения дочери. Когда Лилии было семь лет, она водила пальчиком по чернильным хребтам Скалистых гор и любовалась сетками шоссеиных дорог в континентальных Соединенных Штатах. Когда Лилии исполнилось восемь, он научил ее читать карту, и к девяти она стала штурманом. Когда он объяснил ей, что и как обозначается (север, граница, шоссе, город), она спросила, откуда они отправились в путь, но отец покачал головой и сказал:

– Это не имеет значения, детка, жить нужно настоящим.

Чтение карты доставляло ей огромное удовольствие; по ее разумению, каждый город жил своей, неповторимой жизнью. Пока он сидел за рулем, она любила, зажав глаза, тыкать пальцем в точку на карте, затем открывать глаза и передвигать палец к ближайшему топониму, и придумывать, какое будущее ее там ожидает.

– Нам нужно отправиться в Лафой, купить дом, записаться в библиотеку, завести кошку с собакой и открыть ресторан...

– Какой ресторан?

– В котором подают мороженое.

– Но тогда нам придется остаться в Лафое, – сказал отец. –

У нас будет дом.

– Я не хочу оставаться.

В самом деле, она не хотела и уже целый год оставляла записки на эту тему в гостиничных Библиях. Лилия использовала гостиничные Библии вместо досок объявлений, оставляя весточки путешественникам, которые ехали следом за ними. Когда Лилии минуло девять, они с отцом жили вместе, в одной связке, занимая обычно один номер в мотеле или ночуя в одной маленькой машине, и сообщения в мотельных Библиях были, пожалуй, ее единственным секретом. Она строчила их украдкой, пока отец принимал душ, получая удовольствие от задумки, которую он не одобрил бы. Малая толика личного пространства, полученного благодаря собственной тайне, приближалась к обладанию личной комнатой.

– В таком случае придумай новый план, детка.

– Давай проедем через Лафой, сходим в библиотеку, останемся в мотеле, а потом сходим в ресторан поесть мороженого и снова уедем.

– Этот план мне нравится больше, – сказал отец.

Легче всего им жилось летом, когда не приходилось выдумывать, почему Лилия не ходит в школу, и в парках можно было поиграть со множеством детей. Они месяцами жили в палаточных городках, когда погода была теплая; неделю на одном месте, неделю в другом. Ей нравились кемпинги, хотя в палатке трудно было уснуть. Иногда дождь бараба-

нил по палаточному верху, что делало ночь таинственной и полной скрытых шумов. Она слушала звуки шагов или отдавленный шум поезда; достаточно тихо полежать, и услышишь, как ночные товарные поезда везут грузы из прерий к морю. Они ходили в походы по национальным паркам и на концерты под открытым небом в маленьких городах. Можно сказать, отец любил музыку любых направлений; он выискивал концерты и летние музыкальные фестивали и ехал до них много миль; на концертах они садились вместе на траву с бутылками лимонада. Когда начиналась музыка, он прикрывал глаза, и, казалось, мысли уносили его очень далеко.

Зимой приходилось труднее. Во время учебного года они предпочитали южные штаты, потому что отец не любил холодную погоду, а Лилии нравились пустыни и пальмы, но выдумывать объяснения было тяжелее. Порой, когда ей надоело врать, что она получает образование на дому, она оставалась в номере до трех часов дня, читая книги, принесенные отцом из книжного, или решая задачки по математике, которые он придумывал для нее. По вечерам они смотрели кино, ходили в торговый центр лакомиться мороженым, в музей, при наличии такового, в парк, если было тепло. Отец настоял, чтобы она научилась плавать, и с этой целью они почти на пять месяцев остановились в городке близ Альбукерка, пока она проходила полный внешкольный курс плавания в местном бассейне. Непривычно было так надолго задержаться на одном месте; к тому времени, когда Лилия на-

училась нырять с высокого трамплина и плавать по дорожкам, она стала раздражительной и беспокойной, плохо спала по ночам. На следующий день после первого соревнования по плаванию отец предложил отправиться дальше, и она обрадовалась возвращению в машину и новым странствиям.

Отец избегал долгих простоев даже после первого напряженного года, когда их поимка казалась неизбежной. Он разбирался в бесконечных разъездах и хотел показать ей все, что знал. Он родился в семье американских дипломатов в Колумбии, пошел в начальную школу в Бангкоке, окончил в Австралии, потом переехал в Соединенные Штаты. Последующие несколько лет он посвятил получению ученых степеней в случайных университетах, будучи слишком непоседливым, чтобы обосноваться в каком-то одном из них. Засим он проработал несколько месяцев внештатным преподавателем иностранных языков до тех пор, пока его академической карьере не положило конец досадное происшествие с выпускницей, которая выглядела намного старше своих семнадцати лет. Он немного поработал экспедитором грузов, по ночам самостоятельно учился программированию, отбывал шестимесячный срок в тюрьме нестрогого режима за соучастие в сложной схеме по изготовлению контрафактной продукции, о чем предпочитал особо не распространяться, за исключением того, что она себя не оправдала. Некоторое время проработал барменом в отеле в Лас-Вегасе, женился на матери Лилии и развелся с ней, когда Лилии было три года. Он гово-

рил Лилии, что ее мать невыносимая женщина, не уточняя, в чем именно заключалась ее невыносимость. Зато показал шрамик под левой скулой, оставшийся после того, как мать Лилии швырнула в его голову телефон. За четыре года, прошедших между запущенным телефоном и ночью, когда он появился на лужайке под окном спальни Лилии, он сколотил небольшое состояние на фондовой бирже.

Поначалу отец гнал машину без остановки, потому что нужно было побыстрее сматываться, хотя впоследствии Лилии казалось, что вполне можно было сделать остановку; прервать бесконечную гонку по прошествии достаточного времени, может, обосноваться в каком-нибудь безымянном городишке, когда ей минуло десять или одиннадцать, подальше от отправной точки; изменить ее имя в последний раз, устроить в начальную школу по поддельной метрике, зажить спокойной, почти обыденной жизнью. (И временами Лилия почти видела сценки из этой другой жизни, словно разыгрывающиеся за занавеской – мутные, но разборчивые: первые спокойные годы в начальной школе и забвение, поцелуи с мальчиками в машинах на смотровых площадках, веранда с цветами, высаженными на спины черным пластмассовым лебедям, отец, преобразившийся наконец в чудаковатого, но любящего дедушку, курящего трубку на ступеньках и дающего свою газонокосилку в займы соседям, а потрясения раннего возраста так отделились, что ей кажется, будто они ей и вовсе приснились. «Моя мама умерла, когда я по-

явилась на свет», — мысленно говорит она будущему сочувствующему супругу тихим августовским вечером и настолько верит в сказанное, что оно уже не кажется ей выдумкой, и пролетающий самолет оставляет в небе след, подсвеченный закатом.)

Но они не останавливались. Отец опасался, как он рассказывал ей позже, что если они двое задержатся где-то надолго, особенно на первых порах, то она начнет задумываться о странностях своего воспитания, об отсутствующих членах семьи, о событиях, которые происходили, а может, не происходили перед ее похищением. Порой они ехали неделями напролет; распевали песни в машине, мчащейся по шоссе бесконечности, заводили приятельские отношения с официантками из кафе в маленьких городах, спрягали итальянские глаголы в номерах мотелей от Калифорнии до Вермонта, потом испанские — на обратном пути. Отец сожалел, что не может отдать ее в школу, и, чтобы восполнить пробел, обучал ее всем языкам, какие знал. В бардачке они хранили памятную карточку с молитвой святой Бригитте Ирландской, покровительнице всех беглецов. Отец Лилии не был набожен, но говорил, что карточка с молитвой не помешает.

Жизнь на грани провала была непредсказуема и хаотична, но, как ни странно, Лилия сохраняла при этом удивительное спокойствие. Ничто не могло ее всполошить. Она отличалась природным бесстрашием, несмотря на опасные ситуации: когда в Цинциннати полиция ломилась в дверь

гостиничного номера, она улизнула, протиснувшись сквозь туалетное оконце, и спрыгнула на мокрую траву, затем продиралась через темную живую изгородь и пустилась наутек, пока отец, не находя себе места, ждал ее на парковке близ бензоколонки в полуквартале. И оставалась невозмутимой всю ночь. Отец спросил, не страшно ли ей, на что Лилия ответила, что в ее возрасте не пристало бояться. Она знала, что такое взрослеть: ей было десять с половиной. Правда, в ее голосе слышались нотки напряжения, когда она спросила, далеко ли полиция, но справедливости ради нужно сказать, что часа через два она уснула. Ее отец в ту ночь перенервничал и переволновался, вел машину быстро, но не превышая скорости, поглядывал то в зеркало заднего вида, нет ли сполохов мигалок, то на нее, испытывая чувство беспричинной вины, пытаясь побыстрее укатить подальше и позаботиться о ней. Спустя несколько часов после бегства из Цинциннати он что-то сказал ей, но она не ответила, и в ответах проезжающих автомобилей увидел, что она крепко спит. Готовясь провести за рулем всю ночь, он поймал по радио классическую музыку – Шопена, потом Мендельсона – колыбельные, понизил звук и принялся гудеть себе под нос.

На исходе ноября Илай получил открытку из Монреаля без обратного адреса. На лицевой стороне был изображен безупречный ряд серых зданий с цветочными ящиками и железными винтовыми лестницами со второго этажа на улицу. Внизу оттененным курсивом было выведено: *Montréal*. На оборотной стороне имелась любопытная надпись, сделанная явно не почерком Лилии: «Она здесь. Приходи в клуб „Электролит“ на улице Сен-Катрин и подними белый флаг на танцполе, чтобы я тебя заметила. Поторапливайся. Микаэла».

Если жизнь вообще имела смысл, то в тот миг она стала бессмысленной. Лилия ввергла Илая в неопределенность. Из-за ее отъезда ему захотелось исчезнуть... но если при встрече с ней мир был перекошен, то открытка совершенно сорвала его с оси. День в галерее Илай провел как во сне. Он взял открытку и карту континента в кафе, где уже две недели как поселился Томас, пытаясь подцепить новую официантку. Томас уставился на открытку, присвистнул и покачал головой.

– Как бы ты поступил? – Илай был выбит из колеи.

– Порвал бы открытку и нашел себе другую девушку. Или забыл бы о ней, если ты на это способен.

– Что, если она нуждается в помощи?

– Нуждается в помощи? Это не записка с требованием вы-

купа, а просто странное послание на обороте уродливой открытки. Может, это просто глупая шутка, уловка, чтобы при- манить тебя обратно?

— Я должен к ней поехать.

— Нет, ты должен жить дальше. Разве может человек вот так взять и исчезнуть? Послушай, всякое бывает. Жизнь продолжается.

— Тебе легко...

— Ты думаешь, меня не бросали? Нельзя пускаться за ними в погоню, — сказал Томас. — Если они уходят, значит, у них каша в голове, а когда у них в голове каша, им ничем не поможешь. Не поможешь. Просто надо их отпустить. — Он сделал прощальный жест, напоминающий самолет, улетающий влево. Илай проводил его взглядом, затем снова посмотрел на открытку. — Ты должен начать жить сызнова и двигаться дальше, будто ты ее и знать не знал. Пусть себе делает все, чего не могла делать рядом с тобой. Так уж повелось.

— Томас, это не ее почерк. Забудем, что она от меня ушла. У меня открытка из другой страны, написанная кем-то чужим про нее.

— Она тебя бросила, и ты хочешь отправиться на ее поиски?

— Я только хочу убедиться, что с ней все в порядке. Я знаю, что она меня бросила. Просто я думаю, у нее никого больше нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.